

РУЛЬ

2
Mark

RUL, russische demokratische Tageszeitung
Gegründet von I. Hesser, Prof. A. Kaminka, W. Nabokoff †

Подписная цѣна. Во всѣхъ почтовыхъ учрежденіяхъ Германіи 33 мар. въ Берлинѣ и пригородахъ, съ доставкою собственными разсылными ежедневно на домъ — 45 мар., при ежедневной непосредственной высылкѣ бандеролью — 60 мар. въ мѣсяцъ. Въ Германіи Во Францію, Бельгію, Голландію, Дانیю, Норвегію, Швецію, Италію, Швейцарію, Испанію, Америку Финляндію, Чехо-Словакію, Румынію, Юго Славію, Болгарію, Турцію, Грецію — 120 герм. мар., Англію — 4 шилл. Литву Венгрію, Эстонию, Латвію, Польшу — 80 герм. мар.; Австрію — 30 герм. мар. въ мѣсяцъ. Къ заказу просить прилагать деньги, во избѣженіе замедленія отсылки.

Объявленія: основная плата 8 м. за строку непарелли (ширина строки — одна двѣнадцатая часть страницы), для врачей, присяжныхъ поверенныхъ, ищущихъ мѣсть и для розысковъ 5 мар. за строку непарелли. Строка объявленія въ текстѣ газеты 40 герм. мар. При крупныхъ заказахъ указанныя цѣны не обязательны. Заграничныя объявленія по особому тарифу. Пріемъ объявленій и подписки въ „Ullsteinhaus“ Berlin SW 68, Kochstrasse 22-26, и во всѣхъ городскихъ отдѣленіяхъ Ullstein's, а также къ въ редакціи газеты „Руль“, Berlin SW 68, Markgrafestrasse 73. Редакція открыта ежедневно отъ 11 часовъ дня до 2 час. дня. Редакторы принимаютъ ежедневно отъ 12 по 13 час. дня. Телефонъ редакціи: Moritzplatz 47-61.

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО ВЪ БЕРЛИНѢ

Основанъ **I. В. Гессеномъ, проф. А. И. Каминка и В. Д. Набоковымъ †**

№ 436-й

Воскресенье, 23 (10) апрѣля 1922 г.

2-й г. изд.

Власть Дорошевичъ.

III

Если бы исчислять всё шалость и дурачества, которыми Фальцъ-Фейнова коммуна избывала свой годолный, раздѣтый и разутый досугъ, то вышла бы толстая и, я думаю, забавная книга. Власть Дорошевичъ былъ душою этого «Двора чудеса» и запѣваю всюхъ его веселостей и развлеченій. Хохотъ и табачный дымъ вкругъ него день-деньской столбомъ стояли. Муза пародій, доставившая ему столько успѣховъ впоследствии, — въ моей «Россіи» и въ «Русскомъ Слозѣ», — свылась съ нимъ съ ранней юности и не оставляла его своими рѣзвыми насмѣшками не только въ литературномъ трудѣ, но и въ житейскомъ быту. Странное дѣло! Дорошевичъ не написалъ ни одной комедіи, ни одного фарса. Дѣятельность его, какъ драматурга, ограничилась, какъ онъ съ гордостью выражался, «половиною водевилей», который онъ состряпалъ вдвоемъ съ В. А. Гиляровскимъ. Произведеніе это было поставлено въ театрѣ Корша. Было не Богъ въсть, что, однако ничего себѣ, водевилъ, какъ водевилъ. Но, когда упалъ занавѣсъ, изъ глубины партера неожиданно раздалось такое ужасное шиканье, что вся публика невольно обернулась — посмотреть, кто это старается. Оказалось: два автора — Власть Михайловичъ и Владиміръ Александрѣвичъ — извольтъ освѣтывать свое собственное произведеніе!.. Еще однажды написалъ онъ презоскодное московское «Обозрѣніе» для театра Омоня, но цензура безжалостно урѣзала сатирическую часть этой вещи, а плохіе актеры не сумѣли выкинуть въ ея живую и тонкій юморъ и, глупо заблагавивъ, погуби и пьесу... Надувался было Власть, уже въ концѣ девяностыхъ годовъ, писать комедію о новокупеческой Москвѣ и звалъ меня въ сотрудники, съ довольно оригинальнымъ раздѣленіемъ работы — онъ долженъ

былъ развить всё мужскіе характеры, а я — женскіе. Но я не умѣю писать вдвоемъ, коллективное творчество — для меня — непостижимый фокусъ, психологическая загадка. Я отказался, а Дорошевичъ, немного поворчавъ, и подушивши, забросилъ свой плагиъ и вскорѣ забыть о немъ и думать. А жаль. Общая канва была еще не выработана, пьеса еще не получила «сюжета», но характеры онъ уже намѣтилъ удивительно интересныя: москвичи вставали, какъ живые, — комическихкіхъ эпизодовъ напридумалъ великое множество, одинъ другого уморительнѣе.

Ксенофобное дарованіе, не получившее выхода на сцену, до досады медло расточалось въ жизни. Быть Фальцъ-Фейновой коммуны, откуда жилъ въ ней Власть, былъ сплошное цѣпко комическихкіхъ неожиданностей qui pro quo и мистификацій. Онъ былъ изобрѣтателемъ и охочъ до нихъ неутѣлимъ. Юное веселье было изъ него клочаемый, пожалуй, не хуже даже Антоша Чехова, смолоду величайшаго виртуоза по этой части. Затѣвая какую нибудь товарищескую комедію, Дорошевичъ имѣлъ иногда глорію выдерживать ея живую выдумку. Помню, однажды завелся у него откуда то недурной револьверъ. Причестъ онъ къ намъ, и ужъ, нѣсколько старшій насъ, журналистъ Ракшанинъ, впоследствии очень извѣстный фельетонистъ «Новостей» и авторъ бесчисленныхъ «бульварныхъ» романовъ и ходовой неврастенической драмы «Порывъ», до сихъ поръ не исчезнувшей изъ репертуара, почему то влюбился въ револьверъ Дорошевича и прилялся усердно его покупать. Власть ни за что не хотѣлъ продать. Трагически увѣрялъ, что продать револьверъ для него — «серавно, что брата», но, когда увлекшійся Ракшанинъ, начавъ съ трехъ рублей, наваль ему десять, Власть сдѣлалъ огорченное лицо и махнулъ рукой, со вздохомъ:

— Эхъ, бѣдность!.. Чертъ съ тобой, бери!

Но съ этого дня онъ, вдругъ, рѣзко перемѣнилъ свое обращеніе съ Ракшанинымъ. Сдѣлался сухъ, рзвко, началъ обмолвливать, вмѣсто дружескаго «ты», холодною «вы», придирался къ каждому слову Ракшанина и высмѣивалъ его безпощадно. Мы, компания, ровню ничего не понимали, — какая черная кошка пробѣжала между ними. Въ совершенномъ недоумѣніи пребывалъ и Ракшанинъ, однако, сербская кровь его уже пачинала закипать. Наконецъ, въ редакціи «Развлеченія» состоялось объясненіе... Власть велъ себя надменно до невозможности и вывелъ окончательно Ракшанина изъ себя, такъ что тотъ потребовалъ удовлетворенія.

— Дуэль! насмѣшливо возразилъ Власть, — дуэль между мною и вами? Да кто вы такой, чтобы я сталъ драться съ вами на дуэли? Нѣтъ, сударь, довольно для несчастной нашей литературы двухъ смертей: Пушкинъ убитъ Дантесомъ, а Лермонтовъ Мартыновымъ! Если еще Власть Дорошевичъ погибнетъ отъ руки какого то тамъ Ракшанина...

Тогда «какой то тамъ» Ракшанинъ, доведенный до бѣлаго каленія, не помня себя, выхватываетъ револьверъ, — тотъ самый, купленный у Дорошевича, револьверъ, — и вопитъ не своимъ голосомъ:

— Если вы не примете дуэли, я буду въ васъ стрѣлять!..

Присутствующія бросаются между ними.

— Что вы что, господа! съ ума вы сошли?! Опомнитесь! перестаньте!

Но Власть, тоже уже внѣ себя, быстро растегииваетъ жилетъ, распаиваетъ рубашку на груди, и гремитъ голосомъ — Сальвини въ послѣднемъ дѣйствіи «Отелло»:

— Стрѣляй! стрѣляй, презрѣнный убійца, въ безоружнаго! стрѣляй изъ твоего самого револьвера, который ты ростовщически оттягалъ у меня за десять цѣлковыхъ, тогда какъ въ магазинѣ ему цѣна

двадцать пять, и я лишь по случаю купилъ его на Балчугѣ за полтинникъ! Стрѣляй — и будь проклятъ, Кангъ, посягающій на брата своего Авеля!..

Осаганѣвшій Ракшанинъ спускаетъ курокъ... осычка!.. Два... осычка!.. Три... осычка!..

А Власть, хладнокровоно застегиваясь, говоритъ ему самымъ спокойнымъ и дружескимъ тономъ:

— Чудакъ ты, братъ Николай Осиповичъ! Какъ же ты не разглядѣлъ, что у револьвера замокъ сломанъ и барабанъ не вернется! Я тебѣ только потому его и продалъ...

Ракшанинъ остолбѣнѣлъ. Редакція, опомнившись отъ страха и изумленія, разразилась хохотомъ... А затѣмъ всё, вкупѣ и влюбѣ, отправилась въ демократическій «Татарскій ресторанъ» Петровскихъ липъ — «погашать» и Власовъ десять рублей, и ракшанинскій злосчастный револьверъ.

Додрознить челоуѣка до неистоваго самозабвенія Власть умѣлъ, какъ никто. Однажды въ редакцію того же «Развлеченія» влетѣлъ одинъ поэтъ, большой пріятель Власа, да и общій нашъ любимецъ, чудесный малый, обладавшій единственною слабостью: ужъ очень онъ любилъ приукрашивать свою сѣренькую жизнь «чарованьемъ красныхъ вымысловъ»...

— Здравствуйте, господа! Посмотрите, какіе часы подарилъ мнѣ Антонъ Чеховъ!..

Общее недоумѣніе. Власть съмотритъ на поэта проиницательно:

— Чеховъ? тебѣ? съ какой стати?

— Да, такъ вотъ, — взявъ, свялъ съ себя да и подарилъ!

— Да что онъ — наслѣдство, что ли, получилъ отъ американскаго дядюшки? Изъ какихъ это капиталовъ?

— Ужъ не знаю, изъ какихъ, но только — подарилъ.

— А ну, покажи!
— Пожалуйста!
Показывает дрянные открытые чашки накладного серебра. Влась качает головою.
— Ну, и дрянн же тебь подарил Чехов, если не врешь, что подарил.
— Как дрянн? как дрянн? закипать поэту, — и мгновенно его объясняет взорческое вдохновленн. А знаешь ли ты, что эти часы — совсьмь особенные?

— А именно?
— Они... не бьются!
— Как это «не бьются»?!
— Если уронишь их или бросишь на пол, цѣлы останутся!
— Ой ли?
— Да ужь повѣрн...
— Это тебѣ Чеховъ сказалъ?
— Чеховъ!
— Вѣрно, что Чеховъ?
— Что же мнѣ — икону, что ли со стѣны снимать и присягу принимать?
— Ну, ежели Чеховъ... А ну ка, брось!
— Что брось?
— Часъ осьь.
— Да зачѣмъ же я ихъ стану бросать?
— А вотъ посмотримъ, будутъ цѣлы разобьются?
— Да — если я и безъ того знаю, что не разобьются?
— Мало ли, что ты знаешь... надо, чтобы мы знали... нѣтъ, ты брось!
— Чудакъ ты, Влась! Говорю же тебѣ: Чеховъ сказалъ.

— Мало ли, что Чеховъ... нѣтъ, ты брось!
Поэту бросать часы неохота. Пустился доказывать, что въ нихъ какой то специальный американскій механизмъ... Влась, знай, возражаетъ меланхолически:
— Да что американскій... нѣтъ, ты брось!
И, мало по малу, этимъ своимъ «брось» до того разжегъ бѣднаго поэта, что... дразннвъ! полетѣли часы — о печку...

Конечно, — вдребезги...
Общій хохотъ.. Однако, надо в поэту отдать справедливость, — не утратилъ присутствия духа, вышелъ:

— Это они — угломъ прилились, — съ мужествомъ объяснил осьь, — угломъ, понятно, нельзя выдержать. А, еслибы прямо, — никогда!.. Не бьются, — я же вамъ говорю: Чеховъ сказалъ...

Что Чеховъ никогда ничего подобного не говорилъ и никакихъ часовъ ему не дарилъ, — это само собою разумеется... А уголь у круглыхъ часовъ всегда сохрале въ пословицу нашего богемнаго сотрудничества.

Способность спокойнымъ скептицизмомъ доводить спорщика до состоянн медвяна, бросающагося грулюю на рога, сохранилась у Влася до пожилыхъ лѣтъ. Она много помогала ему въ газетной полемикѣ, какъ одно изъ самыхъ опасныхъ его оружий. Но и въ жизни онъ продолжалъ давать ей иногда пресмѣшная примѣненн.

Однажды, уже въ эпоху моей «России», значить, въ 1900—1901 гг., прѣбавая, по его телефонному вызову, поздно ночью, изъ апографин, въ извѣстный тогда ресторанъ Лейнера. Сидитъ Влась съ нѣкоторымъ драматургомъ, только что поставившимъ свою пьесу на Александринской сценѣ. Пьеса нѣмля успѣхъ у публики и потомъ надолго осталась репертуарною, но критика отнеслась къ ней весьма жестоко. И вотъ теперь, предъ лицомъ монументально-важнаго, сверхъсерьезнаго Влася, драматургъ изъясняетъ скорбю своего непопатаго генн... А Влась невозмутимо слушаетъ его длинную страстную тираду и, только когда драматургъ, задохнувшись собственнымъ краснорѣчнемъ дѣлаетъ паузу, чтобы перевести духъ, изъ устъ Влася исходила одна и та же безапелляционная сентенция:
— Милый мой, однако, согласитесь, что вы не Шекспиръ.

Такъ какъ драматургу соглашаться съ тѣмъ втайнѣ отнюдь не хотѣлось, а явно

провозгласить себя Шекспиромъ равнымъ онъ не смѣлъ, то язвительная «провокация» Дорошевича дѣйствовала на него каждый разъ, какъ въ оперѣ «Фаустъ» крестъ Валентина — на Мефистофеля.

— Боже мой! изъяснил осьь на стулѣ, — да развѣ же непременно надо быть Шекспиромъ, чтобы написать порядочную вещь, достойную общественного вниманн? Вѣдь, что бы тамъ ни писали противъ моей пьесы, она, во всякомъ случаѣ, литературна, будитъ мысль, затрагиваетъ современные острые вопросы...

— Да... но, милый мой, согласитесь, что вы не Шекспиръ?

Драматурга опять коржатъ, но...
— Я, право, не понимаю, — жалобно продолжаетъ осьь, справившись съ собою, — чего же углою отъ меня господамъ критикамъ? Передъ тѣмъ, какъ ставить пьесу, я читалъ ее авторитетамъ... Николай Константиновичъ Михайловскій одобрилъ... Марья Гавриловна Савина на репетицияхъ даже плакала... Согласитесь, что — следовательно — вещь чего нибудь да стоить... Значительная вещь!... И, вдругъ, неожиданно, такое злое отношенн, такая язвительная брань... Чѣмъ это объяснить? Ну, Влась Михайловичъ, ну, милый, дорогой, скажите мнѣ ваше мнѣнн, какъ другу: развѣ ужь такъ плоха моя пьеса? чѣмъ это можно объяснить?

— Милый мой, согласитесь, однако, что вы не Шекспиръ?!

Когда мы покинули Лейнера, сомнѣваясь, кого бѣдный драматургъ ненавидѣть больше: Дорошевича или Шекспира?.. Но Влась не любилъ, чтобы на него сердились товарищи, и написалъ о пьесѣ что то настолько милое, что ослепленный авторъ отъ души простилъ ему всѣхъ его злокозненныхъ Шекспировъ, и оба они остались навсегда добрыми друзьями.

А. В. Амфитватровъ.